

Станислав МИШНЁВ

дер. Старый Двор, Тарногский р-н,
Вологодская область

У вековухи Агнессы Белкиной, толстенькой коротышки, всё Заступово сплошь враги. Её душа глухо гудит, как гнездо ос. Она уверена, что односельчане «подкинули ей свинью». Причина душевного разлада — вода.

Скважину в советское время пробурили для снабжения водой скотного двора, через три года под мольбы и депутатские запросы протянули водопровод в деревню. Нынче двора нет, коров нет, а воду надо всем. До скважины почти километр — кто пойдёт по сугробам зимой воду качать?

А народ зажил богато, у всех почти немецкие стиральные машинки, кое у кого душевые кабинки в банях, тут без воды — амба. Обслуживает водокачку бывший председатель сельсовета. Живёт за пять километров. Летом что — летом просто: мотоцикл между ног и тут он, а зимой — запасайтесь, миряне, водой на неделю. Вот Агнесса и решила всю деревню заткнуть за пояс: взяла кредит, выписала бригаду бурильщиков, бурильщики проткнули ей скважину под самым окном. Красотища! Кнопочку нажала — буль-буль-буль. И никому за воду ни копейки не платит.

— Вот проходимка до чего ушла-то! Вот до чего смекалиста-то! Похохатывает! Одна живёт, а мы... Кормишь, кормишь тебя... — примерно так жёны «сняли стружку» с благоверных мужей.

Как раньше частушку пели:

*Бригадира люблю — похохатываю:
каждый день трудодень зарабатываю.*

Тут приходит депеша: мол, должна вы, Агнесса Белкина, за использованные в течение года природные ресурсы соответствующую денежку. Или — суд! Ага, в глазах деревенских баб забегали чёртики, отхохотала!

Взвилась Агнесса: подоткнули! Свои, свои подоткнули! Самые «завидующие рожи», естественно, у соседей бывают.

Хотя, если честно, так ей и надо!

Да бог с ней, с Агнессой Белкиной. Перекипит.

рассказ



* * *

Едва отошла земля от стужи, сумрачным и скучным днём в деревню приехали строители. Шестеро молодых ребят легко выскочили из кузова «буханки», следом выкарабкался толстый мужик. Походили по дворищу Поповых, попинали горелые головешки, оттащили с дороги обрызганные грязью тесины, покурили у кучи обглоданных временем кирпичей церковной работы — и давай копать ямы. Отдельно присел на кособокую скамейку закутанный в шубу, оттого похожий на огромную гирию мужик.

Смотрю в окно. Все кирпичи на дворище пересчитаны мною мысленно тысячи раз: неуклюжие, толстые, но крепости необычайной. Интересно, кто сгрудил парней в артель, что за строительство такое зачинается?

Иду на улицу. Подхожу к сидящему в шубе мужику, здороваюсь, спрашиваю, не космодром ли новый заводится.

Глаза у мужика маленькие, тонут в жировых складках и подёрнуты дымкой неизбежной скуки.

— Домишко надо сварганить, — отвечает мужик и давай кашлять.

— А-а-а... Дом — это хорошо. А вы чьих кровей будете, уважаемый? — спрашиваю чужака.

— Расейских, уважаемый абориген. Видишь, — пальцем очертил своё лицо. — Рожа шаньгой. Прораб я. Рожин моя фамилия. Неделю лихоманка нутро выворачивает. Интересуетесь, кому будем строить?

— А как же, как же! Очень даже интересуюсь! Не каждый день в нашей деревне дома нынче строятся.

— Заказчик — Гортрамф, из Москвы, — выговорил фамилию и опять закашлял.

— А-а-а... Не слышал про таких, — признал я. — Нищий нынче не строится. Строятся те, у кого в кошельке шуршит, да и знатно шуршит! У нас колхоз двадцать лет как сгинул, доску на гроб не скоро сыщешь. Снимаем с подволоки, как нужна приспичит, — тем из положения выходим.

— Это верно, — кивнул мужик в шубе. — Колхоза нет, воровать негде, лес — дядин. Знакома мне эта песня.

— Какая-то нерусь этот Горт... — споткнулся

я. — Как его? Трамп! Не родственник американскому президенту?

— Да бес с наганом не разберёт! — махнул рукой мужик.

Так началось моё знакомство со строительной бригадой.

Пошли машины, в них — свежий, только что сошедший с пилорамы сосновый брус; везут цемент, тёс, окна, двери. Боже ты мой! Когда я после армии начинал строиться, председатель колхоза дал после посевной неделю: «Руби сруб, а на место поставишь, — почесал в затылке, — как время будет». Почти пять лет я строился. Баня, двор, хлевы, погреб — что! Картошку выкопать — и то времени нет. Ночами копали. И дровяник ночами колотили. Днём на сенокосе как проклятый жарюсь, ночью с женой (а жена ревёт пуше годовалого сынишки!) на себя пашем. «Ты хоть по земле катайся, хоть волчицей вой, а строить буду!» — примерно так не раз ей высказался.

Смотрю: парни доски под железную крышу стелют. Пилят без приберегу. Прораб к тому времени поправился.

— Эх, — говорю ему с сожалением, — пилите, как колхозное прежде не пилили. Пускай этот — как его? — Трамп даже американец, но доски!... Обрезные, без сучка, ровные, пахнут смолой — жалко. Каждая шестиметровая доска на мой расклад полтысячи потянет.

— Я тебе всю обрезь отдам, — смеётся прораб.

— Крохи с богатого стола, — ворчу.

— Он ещё и недоволен, — крикает прораб. — За «спасибо» отдам. А ты замечаешь, старина, что мои парни водку не пьют? А вкалывают как — видишь?

— Вижу. Похвально.

— То-то, — по голосу слышу — доволен прораб. Продолжает: — А в колхозе, бывало, не успели за топор взяться — наливай! Я молодым начинал шабашить, за правду стоял, за честность. Помню, у одной вдовушки матицу тянули, так она корзину к матице привязала, в корзину три бутылки поставила, пирог пшеничный в вышитый плат завернула. Так сказать, по обычаю. Матицу вытянули, водку с пирогом достали, а матицу обратно опустили: мало! Вдова ревёт, а реви не реви — как ска-

жем. Упились до поросычьего визгу. Я по молодости не пил, да и потом тоже — матери слово дал. Вот я ночью сходил, один вытесанный десятиметровый брус (тридцать сантиметров на тридцать, сосна) затащил. Пыхтел часа два. Меня утром из бригады вежливо попросили: не порть нам марку! Нынче — ша, не те времена. Давай денежку — водку сами купим.

Не кричит, не матерится прораб, всё у него продумано, всё наперёд приготовлено.

Печи сложили, на крыше резные петухи ветру горланят.

На Ильин день у новенького вместительно-го, улаженного, проконопаченного дома оставилась грузовая машина. Грузчики стали осторожно стаскивать большой ящик.

Опять я тут, опять внимаю. Стоит ящик на резиновых ковриках. Что бы это такое?

Оказалось, грузчики поведали, — рояль. Хозяин-то музыкант! Вот и хорошо, вот и ладненько! Всё в деревне веселее будет!

Ещё месяц я дожидался нового хозяина дома. Моя душа настраивала сердце на встречу с незнакомым музыкантом. В жизни не видал нот, мне что Рахманинов, что Шостакович — играют хорошо, и Вагнер — неплохо. На всякий случай через почтальонку добыл в сельской библиотеке Советский энциклопедический словарь, стал изучать биографии композиторов. А вдруг пригодится! К классической музыке я испытываю некое равнодушие. Вот когда на тальянке играл покойный Миرونвич и бабы утирали слёзы платками, я чувствовал от игры возвышенную неожиданность, самобытность, оригинальность исполнения, моя душа как летела в прошлое, ей хотелось вместо платков вытереть женские глаза.

Картошка выкопана.

В начале осени хорошо бродить в лесу. Мало его осталось близ деревни, весь лес выхлестан. Стоят кряжистые сосны там, где техникой их не взять. Высятясины, смотрят на мир божий, укоризненно покачивают головами; кое-где мелькают беленькие платица берёзок. Люблю поднимающиеся березки, это сама угнетённая и она же защищённая невинность.

Ночью плохо спал. Жена суетилась с таблетками, порывалась бежать к медичке, но я пошёл в решительный отказ. Проснулся поздно. Смотрю на соседский дом, а в беседке — строители знали своё ремесло! — раскачивается на качелях человек. То ли мужик, то ли женщина, но, судя по развевающимся волосам, скорее женщина.

— Смотри, — говорю жене, — жильцы понаехали.

— Ночью. Парень. Чисто обезьяна волосатая.

— А-а-а.

— Пойдёшь, дедушко?

— Конечно!

Редкий день жену не упрекну: какой я тебе «дедушко»? Что, у меня имени нет? Что, я домовой или цыган приبلудный? Забылась, скажет, прости, и опять — «дедушко».

Познакомился с музыкантом. По национальности — эстонец. Сочиняет музыку к мультфильмам, и даже мультфильмы как-то клепают. Техники всякой у него — лошадиный воз.

Через неделю как бы по наитию или по простоте душевной спрашиваю (тем более парень сразу попросил обращаться к нему «на ты» и звать просто Стасом), почему таким волосатым живёт.

— Стас, — говорю, — у нас как-то худо признают волосатиков. В Москве всякие там ориентации сексуальные, то да сё, а у нас... Извини меня, глупого и старого, не ко двору.

Смеётся Стас. Прищурил глаза, как будто расчесался развесёлым гребешком.

— То-то от меня женщины ваши шарахаются. Иду за водой к колонке, остановилась против меня женщина с корзиной в руке, удивлёнными глазами смотрит, как в землю врытая... Послушайте! Какая разница, бритоголовый я или волосатый?

— Не скажи, не скажи! Мужик он и есть мужик! Ты в армии служил?.. Худо, что не служил.

Прохожие останавливались напротив его дома, уходя в слух. У водоразборной колонки ядовито обменивались мнениями. Пуще всех злится Агнесса Белкина. Из-за налога за использование природных ресурсов до прокурора дошла, платить не стала, по совету законни-

ка взяла да отключила свою скважину. Берёт воду из общей колонки.

— Не сеет, не пашет... Дармоед! — это она про эстонца-то.

— Зашибает знатно. Дай-ко бы нам крышу нынче перекрыть — из пожитков вытряхнуло бы, а тут... Мы ли страну не покормили?! Вот время пошло, всякая нероботь живёт да поёт. А нам пенсию на рублик добавят, шуму-то, радости полные штаны. Министрам подошвы ботинок целовать готовы... — ворчит настороженный люд.

Меня приезжий величает «дядь Егор». Держит за консультанта. Дорожит свежим словом. Ещё бы не дорожить! Наша окающая речь, местный диалектизм, затворенный на природных явлениях, бытовых сюжетах, поговорах и поговорках, — это же соль земли!

— Дядь Егор, вот вы, допустим, серый зайчик, — Стас говорит, а в уме, видно, мультфильмы свои держит. — Заяк добыл где-то морковку, сел на пенёк и грызёт. Довольный такой. Морковка хрустит, глаза от удовольствия жмурит, песенку поёт... Вдруг — шорох. Лиса крадётся. И мешок заранее приготовила. Птички на вершины вспорхнули, любопытствуют... Как себя поведёт заяц? Обомрёт от страха и подавится морковкой или закричит, или прыгает в кусты и — дёру?

— Я бы, — говорю, — закричал, как у нас раньше бригадир Николаевич кричал: «Ить, такая мать-перемать! Пожрать не дадут, кукушкины дети!»

— Хорошо! Очень хорошо! — радуется чему-то Стас. — А лиса... лиса как себя поведёт? Оробеет? Извиняться будет?

И я толкую о своём:

— Покойная Трофимовна, царство ей небесное, в таком бы ключе изложила этот эпизод.

И раз лиса из-за кустиков выглянет, и два — разведку ведёт по всем правилам маскировки. Видит, что зайчишка — дурачок, станет таким голоском убаюкивающим вещать: «Здравствуй, золотой мой. Не пугайся, я тётя твоя, Патрикеевна. Я немного страшная, потому как сарафанчик мой износился, фартучек потеряла, чепец медведь тяпнул, к косметологу из-за этой окаянной должности год не загля-

дывала, а приодень меня, прибаси меня, денежку дай — я с тобой на перепляс пойду».

— А при какой она должности? — интересно Стасу.

— Раз с мешком, — говорю, — то почтальон. Нет, лучше зампомзав¹ такого хитрого, но голодного департамента, что язык сломишь, когда выговоришь. Раньше был сельсовет — всем понятно, а теперь зайди в какую контору — Никола милостивый! Страх и двери открывать.

— Подождите, дядь Егор, я это всё запишу.

— Погодь, ещё чуток погодь! — придержал я Стаса. — Вот раньше был сельсовет — заходи, есть желание выmaterить председателя — валий, матери, ибо власть-то своя, народная. А нынче власть дядина. Видел усатого мужика, что воду качать на мотоцикле приезжает? Вот это и была наша власть. Нынче кого с краю материть пойдёшь? А надо материть-то? И ты, и я, и весь люд со всем раскладом кремлёвского олимпа согласны, правда ведь? Воруйте!

Ёрзает Стас как на крапиве. Сорвался, убежал всё-таки.

Полчаса ждал я его в беседке — пишет. «А что, — улыбаюсь про себя, — время лесному зверью в демократию играть».

— Вот что самое страшное в нашем ремесле? — как-то спрашивает меня Стас.

Пожимаю плечами — расклад двоякий: или в кладовку спрячут на дальнюю полку, или кислород перекроют, то есть финансы подрежут.

— Самое страшное — утратить нерв фильма! — сам он и отвечает. — Настроение фильма! Ведь мы идём ощупью, в темноте, по краю обрыва...

Так шло время. Много с ним про содержание мультфильмов говорили. Он по зайцу тянет в «Ну, погоди!», я — по волку. Симпатичен мне волк-одиночка. Характером как бы на меня смахивает... Хамоват, согласен, но сообразителен и изобретателен; его бы энергию да в мирных целях — цены нет! Нахваливаю фильм, название которого забылось, с женой по ящику год назад смотрели, как в лесу шло собрание зверей. Выступал верблюд. Шерсть

¹ Зампомзав — заместитель помощника заведующего.

на нём, должно быть, моль посекала. Слова в зубах вязнут, оглядывается, заикается, ищет поддержки у слушателей, то присядет, то выбежит в зал, то бумажку скомканную из кармана вытащит, читает по складам — умора. В середине шестидесятых у нас председатель колхоза примерно так речь ковал. И дешево, и сердито. Нахочемся — и по домам.

Никак не думал, что Стас — монтажник философской выси. Я ему, мол, несерьёзные вещи эти современные мультики, вот раньше!.. По мотивам русских сказок фильмы истинные подвижники мастерили, вот это любота-а! Пример привожу — «Аленький цветочек». А нынче таких ущербных вурдалаков налепят вроде безголового булгаковского Берлиоза — только чертей на болоте глушить, не детям показывать.

— Погоди, погоди, дядь Егор! Вот видели вы ораторов, таких площадных, громящих, как Ленин или Фидель Кастро, или?.. Не буду засорять ваш мозг. Да того же волка в натуре? — Стас спрашивает.

Я ему в ответ:

— Куда тебя под облака кинуло! Сам-то ты Ленина на деньгах не видел, оратор... Да кто же волка-говоруна в натуре видел? Волк — изгой общества. Вот и в председатели к нам такого изгоя затолкали, ссылку по партийной линии отбивать. Мне, Стас, некогда было ораторов слушать. У нас один оратор был — райком партии. Давай! Давай! Я пахал, сеял, хлеб убирал — из года в год, изо дня в день. Я в доме отдыха один раз бывал, в Абхазии. Вина там — залейся!

— Ладно, — кивнул Стас. — То, что в сельской местности не принято переливать из пустого в порожнее, я знаю. Да и ораторство — вымирающий дар, вымирающее искусство владения толпой. Пословица гласит: по-писанному и поп служит. Разве человек с блокнотом — честный оратор? Его задача — прочитав написанный доклад, оглушить народ цифрами, фактами, лёгкой критикой в адрес начальства. Недоработки — там, недогляд — тут, зазнайство и тому подобное. Рядовой состав пропагандист, читающий доклад, не трогает, не надо злить внимающего вполуха, дремлющего льва. Казёнщина, окаменелость, скука, про-

форма, ритуал. Излить гнев праведный в сторону Москвы, высмеять хапуг и чиновников, пожалеть сирот — донеси до человека живое слово; для этого требуется вдохновение.

— Подожди, — говорю, — это касемо сообщества людей, а твои зайчики и лисы при какой кузнице? Они у тебя из зоопарка на вербованы или наши туземные? Тут, скажу я тебе, большая дистанция. Городские модницы нахватались всякой гадости, заносчивые, фальшивые, в мыслях одна шелуха о богатой норе, а наши — недотёпы, деревенщина, дикая тайга. Им петушиное крыло в диковинку. Как деревенского мужика вы в фильмах показываете? Сплошная серая биомасса в ватниках, в сапогах, и в интернете наш мужик — дубина, а уж грабить банки — мужик всегда стрелочник. Где пьют как свиньи? В деревне. По ящику какое шоу ни катят, все дураки родом из деревни. Нищета, вошь похоронить не на что, а шуму, гаму, кто кому салазки выбить готов — деревня! За волосы друг дружку таскают, разводы, стрельба, драки — все шишки замшелой деревне.

— Во! — подхватил Стас. — Я стараюсь показать и сказать так, чтобы выглядело всё просто, но запомнилось надолго. Вдохновение — это костёр! Неправда, костёр прогорел и погас. Или слабый огонь задует ветром. Наваждение? Скорее, это связь музыки жизни, души и грешного мира. Вернее, это напряжённая память, незлобивость, порыв, лестница над пропастью мечты и реальности, это вершина, которую пишущему человеку, долго разглядывающему клавиши пишущей машинки, никогда не покорить. Писать, как и говорить, надо быстро, осмысленно, точно идти в бой; «всякая мудрость от бога» — хитро мудрствовать, значит, творить своим умом нечто двуполовинчатое... — на этом Стас будто споткнулся, видно было, что в душе у него начался скандал. — На чём я остановился? — спрашивает.

— Мол, хитрить ни к чему или что-то такое, — отвечаю.

— Нет, дядь Егор, вы про зверюшек из зоопарка и из тайги... Это же совсем иной разворот! Такой разворот!.. Спасибо! Тысячу раз спасибо!!! — и срывается с места, бежит к себе.

Я тоже правлюсь к себе и гадаю, какую речь

он вложит в уста зайца, какую — лисы. Как приоденет своих героев? Всё больше убеждаюсь, что Стас помешан на мультиках.

Дома рассказываю жене, какой я хороший консультант по мультфильмам.

— Скоро он тебя в волка оборотит. Такого костлявого, потерянного, всем недовольного. Ходит такой зануда-волк по лесу и ко всем пристаёт с расспросами: отчего да почему? — посмеивается жена.

— Кормишь худо, то и костлявый, — ворчу в ответ.

Ближе к Покрову направляюсь к соседу. Только что прошёл дождик с ветром. Холоднее стало, начались тёмные и зябкие вечера, а днём ещё тепло, да всё уже не то...

Интересно, как-то у Стаса обстоит вопрос с теплом? Изба, почитай, усадку не дала, печи клал не местный мастер, дрова наполовину сырые.

Скучно теперь на деревне. В полях, заросших ивняком и дурной травой, мертвенно даже под чистым голубым небом. Грустно в полях. Когда-то там гудели трактора, комбайны, были люди и нет — ушли. Под деревней хорошо росла пшеница, пшеничное жнивье всегда самое светлое.

К дому Стаса подхожу. Смотрю, сидит недалеко от дверей, в вытащенном на улицу кресле, закутанная в большую разноцветную шаль старуха.

Шапку сдёрнул, здороваюсь.

Следует многозначительная пауза. Она ли, я ли — оба как искали потаённый смысл от незваного визита.

— Признал ли ты меня, Егорик? — попыталась воссиять лицом старуха.

— Нет, — отвечаю честно.

Самого пот прошиб: «Что же я раньше у парня не спросил, почему он нашу деревню облюбовал?»

Егориком меня только мать называла да Шура... Шура!

— Шура... Шура Попова?

Тряхнула головой, точно чтоб мысли из прошлого вернулись в настоящее.

— Я, мой добрый одноклассник. Умирать приехала на родину.

Я покраснел, как бывает от сильного толчка совести.

— Да вы что... Шура, Александра Ивановна, нам ли с вами...

— Эх, Егорик! Присядь рядом на табуретку, насмотреться на тебя хочу.

Боже милостивый! Что осталось от Шуры Поповой... Нет прежней телесной сути! Передо мной сидела худая, как почерневшая жердь, с посиневшими губами и веками, с головой, неестественно пригнувшейся на правый бок, старуха. Но больше всего поразили глаза: большие, как испуганные, и... нездешние!

Вышел из дома Стас:

— Вот, — представляет мне, — бабуля моя драгоценная, — и пригласил меня за компанию попить с ними чайку.

По лестнице Шура поднималась медленно-медленно, как бы считая ступеньки. Рукой опиралась на поручень, старалась держать голову высоко, спину — прямо, в каждом шажке — величавость и женственность. Что-то изящное осталось от той прежней Шуры.

Стас завис у компьютера, а мы говорили, говорили — слово к слову само тянулось. Вспомнили школу, наших ребят, учителей, родительский дом. Я перебирал бывших одноклассников «по партам» — кто где и с кем сидел, кого после восьмого класса даже не встречал. Это приносило мне странное успокоение. Я точно был дежурным и собирал класс.

Рассказал Шуре, как доживала её мать Евдокия Абрамовна в приюте для престарелых, как пилили дом на дрова, — дрова ушли в колхозную кочегарку, потом на дворнице ставили двухквартирный дом, как жили в нём приехавшие со Ставрополя переселенцы, как сторел дом и вместе с ним пьяная женщина.

— Из нашего класса я да Анька Соловьёва остались, да вот ты, а остальные... А капитаном ты была? — напоминаю Шуре о её давнишней мечте.

— Была, — отвечает. — По Волге на теплоходе ходила. Там и с мужем познакомились. В драке его зарезали, мало вместе пожили. За муж больше не выходила. Только сына на ноги подняла, сгинул в Мозамбике мой Андриш. Вся радость — Стасик.

— Толковый парень, — подсластил я Шуру.
— Вопрос меня мучает, извинения прошу, если обижу: почему ни разу после школы мать не проведала? Она письмо получит — только что не пляшет от радости, всем бабам на деревне по десять раз перечитает.

— Грех это мой, — призналась Шура, — самый большой грех, Егорик. Должно быть, через чёрствость свою и дожить мне Бог повелел в немощи. В церковь часто хожу, молюсь, да прошлое не носится. И дом Стасику подсказала ставить на родном дворе.

Замолчала под влиянием воспоминаний. Посидели молча. Слезы у Шуры бегут по впалым щекам, — бегут безудержно... Потом она достала из стола фотокарточку, долго смотрела на неё, перекрестила и сунула обратно в стол.

Тяжелой была для меня ночь. Угли моих мыслей обдувал ветер далёкого прошлого. Прошёл на кухню, прислонился лбом к оконному стеклу; от холода его напрягся, сжал сильнее веки. И темнее стало перед глазами, в которых по моей воле оживали картинки прошлого.

Достал из холодильника початую бутылку водки и только стал наливать в стакан, как сзади раздался вскрик жены:

— Ты с ума сошёл!

Голос был настолько непритворным, что я невольно вздрогнул и отодвинул стакан.

— Пить-то зачем?!

— Накатило как-то, — глотнул воздух сухим горлом.

— Не пей, — попросила жена и ушла.

Лежал с открытыми глазами, а перед ними в зыбком мареве оживало моё прошлое. Оно не вызывало ни тревоги, ни досады, в какие-то минуты мне хотелось рассмеяться, а где-то далеко, как неясная боль, то проявлялась, то исчезала славная девушка Шура. Где была моя станова мысль, а где мысли текли другие, бесцветные и беззвучные, — я не знаю. Знаю другое: прошлое напрягало мой мозг!

Мы ещё ничего не смыслим в девушках, ни в девичьей красоте, ни в их тайнах, в нас ещё

спят инстинкты мужчин. Мы — дети севера. Всё предопределено самим духом времени, временем послевоенной колхозной поры.

Чувствуем, хотя и не понимаем, что есть девчонки очень хорошенькие, есть не очень, а вот Шура... Сам воздух волнуется, не только мы, когда она идёт мимо или просто собирает рассыпавшиеся льняные волосы в пучок на затылке, или когда выходит к доске, или... Руки у неё красивые. Немножко пухлые.

Все матери старались нас приодеть как-то поприличнее. Почти вся одежда была портяная². Штанишки узенькие, выкрашенные в синий цвет. Зимой после школы до самых потёмков катались с угора на лыжах, снимешь перед сном свои штанишки, а ноги, как у мертвеца, синюшные. Фабричную рубашку мне подарили в шестом классе за высокие показатели на тереблении льна. Это был праздник! И стоила рубашка три рубля шестьдесят одну копейку. Чёрная, пять перламутровых пуговиц, а воротник почему-то белый. Спрашиваю маму, зачем воротник белый пришили. «Чтоб грязнули, — сказала, — вроде тебя чаще шею мыли».

А Шуру мать одевала в перешитые платица, кофточки; меняла яйца и сметану в райцентре на поношенную одежду. Бывало, весь класс любовался Шуриной обновкой. Она это видела, но чтобы задирать нос, хвастаться — да ни в жизнь! Невольно хотелось брать с неё пример.

Если другую девчонку можно было дёрнуть за косу или подложить на сиденье кнопку, то Шуру никто из ребят не гадил. Так и норвишь держаться к ней поближе, вдыхать какой-то особенный запах, исходящий от неё. На доске выводит мелом аккуратные слова и цифры, а мы смотрим, смотрим, любимся, даже переживаем... Когда Серафима Ивановна ставит ей четвёрку, каждому из нас хочется кричать: «Пять! Она всё знает!»

Взгляд у Шуры рассеянный, нездешний, скользит, бывает, по нашим лицам, точно не замечает.

На наши босые ноги в кровавых трещинах, цыпках она не пялится, как другие девчонки — те неопределенно хмыкают.

² Портяной — холщовый.

Голос у Шуры певучий и тёплый, как пронятый солнечным маревом. Он сулил что-то, а что — глупые мы ещё были.

В седьмом классе копали картошку на школьном участке. День был тёплый, тихий, задумчивый. Прошёл с курлыканием косяк журавлей. Подул ветерок, полетели семена осота, иван-чая. Шура держит растопыренный мешок, я высыпаю в него из ведра картошку.

Подходит Серафима Ивановна, усталая. «В какой институт после школы поступать думаешь?» — спрашивает Шуру. Она — ей: «А девочки бывают капитанами? По морям, по океанам корабли водят?» «Захочешь — и будешь капитаном», — сказала Серафима Ивановна. Это были очень сердечные слова — отечески благожелательные, и даже опасение в них — мол, как бы ты, Шура, не совершила ошибку. Шура вдруг пришла в оживление, засмеялась, запрыгала, ладони рупором поднесла ко рту: «У-у-у! Берегись, затопчу-у-у!»

На сенокосе старухи намеренно ставили Шуру впереди всех. Старая Трофимовна, когда обращалась к Шуре, всегда добавляла «золотая моя». Покажет Шуре, какого куста держаться, — «золотая» и идёт, старательно сгребая сено в валок. Ориентир всем — беленький платок. Он манит народ, подтягивает нас — неохотно волочащих грабли ребят.

«Эх, и баска же у Евдохи девка! Дал ей бог радость!» — говорили женщины. И, верно, каждая в мыслях имела желание видеть девочку взрослой да в своей семье.

Наволоки были «коч на коче да кочём подпёрся», от самой воды по берегу — крапива, кусты; овод заел, мошकारа облепила, лошади бьются в постромках; люди все потные, все томятся, на небо тревожно заглядывают. Каторга — сенокосная пора.

Отчество Шуры — Ивановна. Её мать замуж не выходила. Но чтобы обозвать Шуру «сколотень», «подзаборница» — да пусть отсохнет у того язык, кто произнесёт такое гадкое ругательство!

Да, мы, деревенские ребяташки, любили Шуру, покровительствовали ей. Как-то незаметно мы стали замечать, что она сильнее нас,

самостоятельнее. Шура может, если захочет, сделать то-то и то-то.

Наша Шура взрослела, и взрослость её для нас стала чем-то необъяснимо заманчивым и даже завидным. Серафима Ивановна с ней стала говорить как со взрослой, — ну, не совсем, положим, как со взрослой, а всё-таки не так, как с другими.

Помню, в восьмом классе, ближе к весне, в клубе давали концерт заезжие гастролёры. Шура и я стояли в коридоре — почему-то оба опоздали, а заходить в зал, когда он взрывается аплодисментами, постеснялись. Не помню, где блуждал мой потерянный взгляд, но вдруг глаза остановились на прильнувшей к щёлке Шуре — она чуточку приоткрыла дверь и внимательно слушала.

Какая-то сила понесла меня к ней, у двери я встал к Шуре так близко, что, замирая от счастья, всеми лёгкими вдохнул девичий дурманящий запах.

— Шура... — с трудом выдавил из себя.

Она шикнула на меня: мол, не мешай! Через какое-то время повернула ко мне лицо, спросила:

— Чего?

«Шура! Я люблю тебя!» Нет, тогда я не произнёс вслух эти слова, но и сейчас вспоминаю их как сказанные и ею услышанные. Иначе зачем было Шуре, как в испуге, отпрыгивать от двери, зачем прикладывать к лицу платочек с вышитым цветком?

Сейчас я повторяю в памяти эти слова, а тогда едва не потерял сознание, — ведь это было признание в незнакомых мне в ту пору чувствах, — сжигающих чувствах! И, что интересно, эти слова как проросли во мне, несколько лет крепили они в моём воображении. Когда служил в армии, не раз порывался написать Шуре такое письмо...

Утром жена даёт поучительное наставление:

— Страсть ты, дедушко, впечатлительный у меня. Доверчивый ребёнок. И сам не поспал, и мне не дал. Не надо бы тебе к ним ходить. Ишь, глаза красные. Слезовать на крыльцо выходил?

— Отстань!

– Не отстану! Дурило ты старое! Не зря говорят: что малый, что старый вчерашний кисель хлебали. Сегодня какую басенку про зайца да лису выдумашь? Он тебя хоть бы в сотоварищи взял: мол, и Егор из деревни Заступово волка озвучил. Глядишь, мне на Новый год обновку купишь.

– Ну тя! Кислота едучая!
А мысль отличная!

Гляжу, Стас один на качелях выкачивается; я – к нему. Вот задаю ему задачу: как горемыку-зайца прописки лишить, из своего леса в шею выбить, так сказать, корни его отеческие вырвать, чтоб память отшибло?

Опешил Стас.

– А зачем? Зачем зайца лишать естественной среды обитания?

– А зачем народ русский сживают со своей земли? Зачем молодежь приучают жить вахтой? Деньги, только деньги! Езжайте в Коми строить дорогу, зарплата – шестьдесят тысяч в месяц! Езжайте в другую область лес валить, зарплата – семьдесят тысяч в неделю! Езжайте, езжайте, рвите пуповину, не держитесь за родину. Химера одна – эта родина! Вы езжайте, к вам в деревню приедут другие, такие же наёмники с бору по сосенке, хуже того – китайцы, они распашут пашни, наводят крепко посолонных удобрением огурцов!

– Политикой пахнет, дядя Егор. Не прокатит, – мотнул головой Стас.

– Почему? Пускай заяц отдувается!

Стас бросил на меня заинтересованный взгляд, которым хотят взять человека со всей его сущностью: мол, а ты, дедушко, ещё тот звездопад...

В задумчивости я оставил парня.

Снова встречался с Шурой. Глаза сегодня у неё при жизни мёртвые. Не глаза – скованные льдом маленькие лужицы воды.

Говорила Шура мало, тихонько всхлипывала. Да, она мечтала о дальних странах, о самоотверженности, решимости, – мечтала посвятить себя служению людям. Она не ошиблась, она просто не успела. Наконец выпрямилась в кресле, проговорила сквозь слезы:

– «Не нами наши дни земные сочтены». Грустно. «Всё уйдёт туда, откуда пришло». Я старая негодная старуха... Отчего у меня нет твоей силы, Егорик?

– Не понимаю, какая во мне сила? – хмыкаю.
– Мне что, семнадцать лет и красная рубаха?

– Егорик ты, Егорик! Вчера на наш угор сбродила, еле обратно приволоклась. Стоит лес-то, стоит! Помнишь сосенку, с которой я упала? Такая могучая, державная теперь! – Киваю головой: помню. – Всё печёшься о стране, о народе – ты такой же романтик, каким был в школе. До встречи с тобой у Стасика было много друзей среди зверушек, теперь он не подходит к компьютеру. А вчера... Вчера он перед зеркалом остригся и даже побрил голову.

– Хвалю! – говорю я. – Чего народ пугать...

– А пожить ещё хочется, – вздыхает Шура.

– Вот есть у Блока такие строчки:

*О, я хочу безумно жить:
Всё сущее увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!*

Ближе к морозам Стас и Шура стали собираться в город.

Стас метался, искал свой «нерв» в кругу зверушек мультфильма: то среди ночи в доме заиграет музыка, то смех, то лай или заушает филин...

Бабка Шура понимала внука, проявляла мудрую терпимость, не надоедала расспросами, не лезла с советами.

А жена уж не говорит мне – стонет:

– Вроде, дедушко, стропила у парня набок пошли, а?

– Ты дурь-то выкинь из головы! «Де-е-едушко!» – передразнил. – Стропила у неё пошли... Это вдохновением зовётся, поняла? Зрелая стезя родит зрелую мысль, а проще сказать, он приобретает жизненную отвагу.

– Ну, опять в задир пошёл, – ворчала жена.
– Проходимка какого-то дня в райцентре была... – про Агнессу Белкину припомнила.

– Вы с проходимкой одного поля ягоды! – осадил сразу.

Но, признаться честно, я был рад отъезду соседей. Не то чтобы они надоели мне, моя ду-

ша, привыкшая последние годы в одиночестве бродить по пустым полям, по лесу, под деревней, хотела покоя. А с соседями — иду к ним почти каждый день как на работу и ничего не могу с собой поделатъ!

Скверное чувство постоянного одиночества, отчуждённости, даже непутевости всё сильнее раздражало моё сознание. Бранил себя: разворошил Стасу «нерв», писал бы парень по-прежнему музыку, лепил мультфильм, а теперь по ниточке вяжет совершенно иную канву.

С женой неделю не разговаривали.

— Я тебе притчу скажу, Егорик, — как-то заводит разговор Шура. — Про крест. Всякая притча — это всё параграфы нравственного уложения нашего бытия. Жил да был плотник Иван. Дожил, как говорится, до тюки: нет ни хлеба, ни муки. Взял веревку, пошёл в лес. Сел, глазами с соснами прощается, муки танталовы принимает. Тут Бог идёт по своим божьим делам. «Рано, — говорит Ивану, — с жизнью прощаться. Грехов на тебе, как на собаке блох, грехи изжить нельзя, судьбу поправить можно». «Так дай мне, Всемогущий, другую судьбу, другой крест дай. Понесу, сколько сил хватит!» — возопил Иван. «Ты ещё крест Моего Сына Иисуса запроси!» — сердито сказал Бог. «Что ты, что ты! Не достоин я рукой дотронуться до креста Сына Твоего! Мне какой попроще, покрепче, корня мужицкого или барского, только бы хозяйственного. Молод я был, глуп, когда крест выбирал. Судьба не кобыла, верхом не сядешь. Дал бы ты, Господи, возможность судьбу изменить!» Согласился Бог. Пришли они в некое хранилище, а крестов в нём большие миллионы стоят. «Я мир сотворил за шесть дней, — Бог сказал. — Шесть дней даю тебе, жалкая песчинка, новый крест себе обрести». Обрадовался Иван. Шесть дней без усталости по хранилищу бегал. Схватится за крест — добротный, из ясеня — вот бы такой! На обратной стороне читает: «Пётр. Солдат. Погиб под Москвой». За другой ухватился — серебряный, в позолоте, читает: «Матфей. Инок». Третий, сотый, тысячный... Шесть

дней сновал. Сел отдохнуть, стоит перед ним крест — такой ветхий, неприбранный, неухоженный, будто от Пасхи до Пасхи в воде не купанный. И подумалось Ивану: мол, на меня похож: «Сирота ты, сирота. Кто-то забыл или намеренно оставил...» И схватил крест, бежит к Богу: выбрал! Бог поворачивает тыльной стороной: «Иван. Плотник». «Так это же мой крест!» — кричит Иван. «Твой, — говорит Бог, — теперь-то ты в уме. Вот какой выбрал — тот и неси». Идёт Иван от Бога, и тепло на душе от обретения своего же креста, и обидно: опять не тот выбрал. А Бог рядом шагает: «Ты когда последний раз был на кладбище, когда отцу-матери поклоны бил?» — спрашивает укоризненно. «Господи! Прости меня, прости! Сейчас, сию минуту волю твою исполню!» — «Чтобы мне на шестой день в отпуск уйти или захворать — так куда там, остановиться не мог в творении своём...» — ворчит Бог незнамо кому...

Что говорить — перед отъездом прощание с Шурой было тяжёлым.

— Похоронить себя велю здесь, — шептала она, склонив мне на грудь совсем ослабевшую голову. Говорила с остановками, в очевидном волнении: — Крест мне поставь, пожалуйста. Из наших сосен поставь. Сруби такую маленькую, неказистую — штраф Стасик заплатит.

* * *

На деревенской улице стоит «Газель». В салоне на мешке с луком сидит Агнесса Белкина. Возле ног — ведро солёных рыжиков. Что поделаешь, за кредит надо ежемесячно платить. Против приезжих она зла не держит. Нет, нет, люди хорошие, а вот свои... У-у-у! Слов нет, одни эмоции, — свои хуже всяких врагов!

Почему я начал рассказ с Агнессы Белкиной? Поясню. В тридцать первом году дед Агнессы ни одного бревна в сруб не положил, только что милостыню не просил, сопли зимой к губе примерзали. Но большевик Павел Иванович был, и при том с наганом, ярость

революционную показал, горлом взял: «Занести в кулаки Егора Машенкина! Выселить! Чтоб на сто вёрст не пахло Машенкиными!»

Хороший дом у Машенкиных, не дом — отрада! Два пятистенка кряжистых, в хозяйстве семь коров да три лошади. Волостная ячейка ВКП (б) пошла навстречу: работающая семья, в которой одних ребятишек было восьмеро (младшей дочке — месяца от роду), в лютый мороз была отправлена пешком на Великий Устюг, есть город такой.

Мать с дочкой-грудничком воротилась — не перенести ребенку дороги. Так Павел Иванович, или, по-нашему, — Пашоуня Сопливый, в избу не пустил обогреться! «Иди, — сказал, — куда тебе партия указала!»

Мать с ребёночком шла да шла, до деревни Николаевской дошла, у крайних домов упала. Ребёночек замёрз у неё на груди. Когда женщина у милосердных людей оклема-лась, её отправили по этапу на строительство Беломорканала.

И дива нет, что деревня косо глядела на Белкиных.

В начале семидесятых заступовские девки у парней почётom не пользовались. Мать Агнессы Прасковья Павловна возвращалась с выставки ВДНХ. В деревне знали, каким местом «Параня Пашоунина» славу да почёт сидеть в президиумах добывала. В деревне её Сканцем кликали за глаза. Сканец — это тончайший, как пушинка, блин.

Дело глубокой осенью было. Слезла с поезда — Мать Богородица! Дождь холодный сечёт. До дому сто двадцать вёрст. Живой добраться — исповедаться не мешает. Дорога исхлёстана шоферским матом. Чемодан хватает, подбегает к одной машине — толпа желающих уже сгрудилась. Долговязый шофёр, хорошо подпивший, на подножке стоит, выламывается, кепка, что гребень у петуха, на ухо сбита, указательным пальцем грозит:

— Заступовских не берём!

— С Березников мы!

— С Милой Горы!

— Тебе заступовские дорогу загородили? — сунулась вперёд Прасковья Павловна.

— Девки у вас дырявые!

— Ой ты, телок ты, телок! Да золото и то моют в дырявой посуде. Из худой девки золотая баба выходит, если, — стучит себе пальцем по виску, — тут ума не с куриную шепоть. Правду я говорю? — обращается к другим пассажирам.

Милогорским и березниковским не до деба-тов. Уехать бы! Всем ехать надо, и желательно бы в кабине, не на мешках с мукой.

— Ну-ко, — Прасковья Павловна тяжёлым чемоданом жмёт ноги шоферу, — пускай в кабину — я тебе такую невесту высватаю...

По первому снежку этот шофёр едет в Заступово сватом. Для храбрости и пушей важности кинул за воротник граммов триста водочки. Как и принято сватам, в избу не идёт, у калитки топчется. Вышли невеста с матерью, у невесты шаль с кистями по плечам рассыпалась. В старину говорили: «Хороши в доме косовик хрустящий да зять говорящий». Не позволила невеста парню товар разложить, то есть душу открыть, — глянула пристально да и говорит:

— Ну, мама, спасибо, — Агнесса говорит. — По себе выбрала: на скамейку стать да кудри расчесать. Из какой же глубокой канавы эдакой мотовило выгребла? Давай-ко, дружок, пока машина не остыла, поворачивай оглобли.

С той поры шоферы на вокзале редко брали заступовских баб, а девки — и вовсе лучше не подходите.

Мне страсть повезло: привёз жену из-под Красноярска. В армии бегал да бегал в самоволку, вот и выбегал.

Век не забыть!

Вёз нас с вокзала с невестой один очень степенный «отец родной». В годах дядька. Сказал, когда мы забрались под натянутый на уголь брезент, три слова: «Это... не шавите³». Нос — что шишка еловая, обласканная крепким морозом. Валенки с двумя заломами, шуба под солдатским ремнём, на голове — кубанка, крестом прошиты две красные полосы. Из великой милости взял. Декабрь месяц, под моей шинелью дорогу грелись, снегу — до пупа, мес-тами машину толкали; как могли, до райцент-

³ Шавить — болтать, шутить.

ра прикачали. Протянул «отец» за расчётом крепкую руку, последние три рубля, притом рублями, затолкал в малюсенький кошелёчек.

Озябла моя лапушка, пропитались её лёгкие угольной пылью, кашляет, подпрыгивает на месте, негодует:

– Барсук дохлый! Солдата ободрать?!

Я – шахтер, она – шахтёрка, будто выползли на свет из забоя. Ветер лютует. На столбе фонарь оловянного цвета раскачивает морзянку. Замусоленным платком отираю ей лицо, смеюсь:

– У него семья большая, семь девок – всем надо приданое стоптать.

– Чтоб им всем за кривое коромысло замуж выйти!

От райцентра до Заступова – двадцать километров. Чемодан у моей невесты старинной работы, углы в железных набойках, до отказа забит он платьями, кофтами, прочей женской «амуницией». Давай, говорю, куда-нибудь пристрою его – не тащить же...

– Ещё чего! – отвечает.

Кержацкая натура!

Незабываемая картина: мы голодные, ночь, ветер со снегом, местами дорогу перемело – как у нас говорят, стручки наставило. Но на крепкой палке тащим чемодан.

В сердцах свою милушку к старшине роты в каптёрку «на длительное хранение» прятал, с капитаном Шевелёвым породнил – хозяином «гарнизонной губы», пришлось погостить у этого Шевелёва.

А невеста ещё и дерзит:

– Раскис, вояка?

Романтика!

Шутник был капитан! Построит, бывало, разгильдяев, велит своему подручному здоровенному ефрейтору вынести девять лопат на десять человек. Все стоят, не спешат лопаты разбирать. Ясно, что одному солдату лопаты не хватит. Вот которому не хватит – тому трое суток добавки: нет у тебя, товарищ солдат, желания покинуть наше исправительное учреждение! Хватайся за лопату, дерись за лопату – во, молодец! И тебе сразу поощрение: сутки – минус!

□

Станислав Михайлович МИШНЁВ

родился в д. Ярыгино Тарногского р-на Вологодской обл.

Из потомственных крестьян-колхозников.

Образование высшее.

Автор диалектного словаря и пятнадцати книг прозы.

Печатался в журналах «Слово», «Роман-газета»,

«Вологодский лад», «Север», «Библио-поле» и др.

Трижды лауреат конкурса короткого рассказа

имени В.М. Шукшина.

Лауреат Беловской премии

и международной премии «Филантроп».

Член Союза писателей России.

